

ОБ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМЕ

Н. Я. Мандельштам написала книгу о своем муже, поэте О. Э. Мандельштаме. Я вижу в этой работе часть огромной важности дела. Его совершают, часто с большим для себя риском, уже немногие теперь люди, пытающиеся сохранить образы тех, кому мы обязаны нашей самой большой национальной гордостью: русской литературой. Ни одна другая (впрочем, я не знаю восточных) не может сравниться с ней по количеству авторов и произведений самой первой величины. Абсолютная высота литературного мастерства и вдохновения достигнута художниками разных народов. Но где на протяжении полутора столетий творили столько и таких писателей? Я уж не считаю того, что было сделано до прошлого века. Наша литература не только богата. Она еще и совсем самобытна. Понятно, что свою литературу я знаю лучше, чем чужие. Но все же я имел возможность прочитать довольно многое из написанного на некоторых других живых европейских языках, а из древних — на латинском. Поэтому мое мнение о родной литературе, я думаю, — не следствие патриотизма.

Первые декады нашего столетия часто называют серебряным веком русской поэзии, подразумевая под золотым первую половину прошлого. Я считаю это несправедливым и думаю, что сравнительная оценка этих двух периодов была бы не так решительна, если бы в более раннем не сияло имя Пушкина. Но Пушкин вообще один. Гениев такой величины нельзя относить ни к какой народности и ни к какой эпохе. При всяком сравнении они должны оставаться как бы вне конкурса. Так, золотым веком музыки нельзя считать первую половину XVIII столетия на том основании, что в то время творил Бах. Он тоже один во всей музыке. Если же принять во внимание, что поэзию нельзя строго отграничить от прозы, то русскую литературу от начала XIX века до середины нашего вряд ли можно разделять на периоды. Можно только сказать, что за это время была создана великая русская литература. Но ее блеск и богатство обязывают нас сознавать свою ответственность, когда мы заявляем, что писатель занимает место в ее самых первых рядах. И я сознаю ее, когда считаю совершенно бесспорным помещением в эти ряды О. Э. Мандельштама.

Книга Н. Я. не напечатана. А копия ее рукописи находилась в моих руках всего полтора суток, и ее чтение я не закончил. Н. Я. одарена удивительной памятью. Но никакая память не безупречна, а некоторые сведения, приводимые автором с чужих слов, неверны. То и другое я заметил в нескольких местах, где упоминается мое имя. Но облик самого О. Э., о котором написана книга, эти ошибки не искажают, это — самое главное.

Н. Я. заметила, что о самом для него священном и высоком О. Э. избегал говорить. Я почему-то на это внимания не обратил. Но это действительно было так. Трудно допустить, что имя Пушкина никогда не упоминалось в наших разговорах. Однако я не помню, чтобы О. Э. высказал какое либо суждение о нем. Но однажды, в связи с

каким-то упоминанием «Пира во время чумы», он произнес начало песни Мери, закончив стихами

И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.

Ни сам он и никто из присутствовавших уже не мог продолжать разговор о Пушкине. Произнеся эти стихи, О. Э. сдернул какую-то пелену, затуманивавшую их полный блеск и силу. Нельзя словами передать, какими средствами это было достигнуто. Кто-то сказал, что, чтобы быть гениальным писателем, нужно иметь гениального читателя. О. Э. говорил, что чем сильнее стихи, тем труднее их читать. Но и не легче постигнуть их силу самому! И какая ответственность заявить гениальному автору, что ты и есть тот, для кого он писал! Певица-негритянка М. Андерсон, обожающая Баха, долго не могла решиться петь его арии. Она считала себя недостойной исполнять такую музыку. Зара Долуханова, конечно, не испытывала такого трепета. В этом и различие между ней и Андерсон, между известной певицей и музыкантом самом большом понимании этого слова. Профанировать поэзию — дело актеров, выступающих с декламацией стихов, и литературоведов. О. Э. не был ни тем, ни другим. Он был поэт и потому не говорил о самом для него священном.

Нечто близкое, вероятно, лежит в основе того, что за 32 года, протекших с его смерти, я не мог заставить себя ничего написать о нем, а иногда совершаю поступки, которым сам не нахожу объяснения. Стихи Мандельштама — силы необычайной. Значит, о них говорить нельзя. Их можно только произносить. Но к этому у меня добавляется еще и то, что его самого я любил, как редко еще кого в своей жизни. Именно — не восхищался им, не преклонялся (для этого есть его творчество), а в самом простом значении — любил. Реже всяких других, вероятно, встречаются люди, способные тонко чувствовать, не имеющие в себе ничего фальшивого, не меряющие ничего и никого меркой корысти, рефлекторно отвечающие на любое событие благородным движением души, щадящие в каждом его человеческое достоинство, испытывающие боль от чужого страдания или унижения. А Мандельштам, кроме того (а, может быть, несмотря на то), что был он гениальный поэт, был целиком сделан из всего этого высшего благородства. Но ведь нельзя же дружить с божеством. Да и быть божеством скучно и трудно. Разве что Гете мог выдержать эту марку. А гениальный и благородный Мандельштам, кроме только манеры задираТЬ кверху голову, не имел в себе ничего олимпийского. Я вижу, как уже из не одного появившегося воспоминания о нем создается портрет, который я не могу точно характеризовать, но с которым решительно не могу примириться. Кажется, человеческий облик О. Э., обрисованный его женой, не искажен. Но не могу сказать, насколько он полон (повторяю, что я не дочитал рукописи Н. Я. и, торопясь, не все прочитанное запомнил). Но против того, который начал складываться, неопровержимо говорит хотя бы одно только то, что, несмотря на ужасную судьбу О. Э. и на трагический пафос очень многого им написанного, сам он не только не был мрачен, но наоборот — был человек веселый, как никто понимавший шутку, комизм и восхитительно умевший шутить. За пять лет нашего постоянного общения более или менее безоблачным был только период нашей совместной поездки в Старый Крым и две или две с половиной недели, что я там прожил. Все остальное время было всегда трудным. Чаще всего просто у Мандельштамов не было денег. Не на что было есть, курить. Негде бывало жить. Но было постоянно и еще нечто, несравненно более тяжелое для поэта. — Обиды и неудачи в отчаянной борьбе за свое выявление, за аудиторию. Обо всем этом не мог не идти разговор при наших почти ежедневных тогда встречах. Но я не могу припомнить ни одного самого мрачного момента, в ко-

тором нельзя было бы ожидать от О. Э. остроты, шутки, сопровождающейся взрывом смеха. Не помню, чтобы сам я когда-либо чувствовал, что собственное мое остроумие неуместно при обсуждении невеселых положений. Шутить и хохотать можно было всегда. Был у нас даже особый термин — «ржакт» (от глагола ржать) — для обозначения веселого и самого разнообразного по тематике зубоскальства, которому мы предавались при мало-мальски располагающей к этому обстановке. В этих ржактах порождались многие, часто коллективные, стихотворения и другие шуточные произведения. Большая часть их забыта, но некоторые уцелели в моей памяти.

Французская революция, как и все другие, конечно, была ужасна. Как и другие, она разнуздала силы зла. Но так уж происходит на свете. Быть может, так должно происходить. Хотя высшего оправдания это не имеет. Жестокость и насилие, хотя бы они были неизбежны и пусть даже с чьей-то точки зрения необходимы, — сами по себе все же зло. Но в революциях особо отвратительны не бесчисленные убийства в баррикадных и других боях, а казни. Что бы ни говорилось, символ французской революции — гильотина. Под ее нож пошел в числе стольких других спокойный, беззлобный отец своих детей и муж не по нему красивой и бойкой жены, в меру своих способностей исправлявший не им самим захваченную, но возложенную на него законом престолонаследования должность короля Франции. Но из всех преступлений той революции самое страшное — убийство Шенье. Самая драгоценная пролитая тогда кровь — его. Кровь поэта, любимого Пушкиным и... мной. А убийство Мандельштама?!

После сказанного можно понять, почему я до сих пор ничего не писал о Мандельштаме. Я и о своем отце, о матери, о брате, о сестрах и о жене не могу написать потому, что есть ступень любви и близости к людям, достижение которой кладет запрет на разговор о них.

Еще по одной причине трудно писать о людях великого дара, с которыми тебя связывала близкая дружба. — Некуда спрятаться самому. Всегда будет бесконечно много всяких «он сказал мне», «я сказал ему», «мы решили», «нам хотелось» и т. п. Одним словом, неизбежно получается «Ну что, брат Пушкин?» Несносно быть кем бы то ни было, кроме как самим собой. Я понимаю, что можно боготворить Баха или Пушкина, сознавать несоизмеримость своих способностей с их гением. Но нельзя желать быть Пушкиным или Бахом. Всякая зависть основана на досаде, что ты чем-то обделен, что в чем-то судьба тебя обидела. Я не смог бы жить с таким сознанием. Но некоторые, и даже очень многие, живут. Шопенгауэр видит источник всякого патриотизма в том, что человек, лишенный собственных добродетелей, поднимает свою ценность в собственных и чужих глазах добродетелями или заслугами той группы (нации, слоя, общества, профессии и т. п.), к которой он принадлежит. По-видимому, нечто сходное лежит в основе стремления если не к дружбе, то хотя бы к знакомству со знаменитыми людьми. — За отсутствием собственного блеска посягать хоть отраженным. Свою дружбу с О. Э. я считаю одной из величайших милостей своей судьбы. Но я скорее согласился бы не быть с ним знакомым, чем быть глухим к поэзии, в том числе и к его.

И все же после прочтения хотя бы части рукописи Н. Я. я чувствую, что не могу не сказать об О. Э. или о том, что связано с ним, хотя бы немного. Основания для этого те же, по которым я вообще пишу без уверенности, что написанное мною будет кем-либо прочитано. Я их изложил в «Предисловии ко всем сочинениям, написанным мною, но не опубликованным в печати». То, что здесь следует далее, не образует ничего единого или цельного. Это лишь некоторые воспоминания или заметки.

Дворик эриванской мечети

Натуральный кармин добывается из мексиканской кошенили, в тканях которой он содержится в большом количестве. Родина этой кошенили, как и кактуса опунции, на которой она выкармливается, — Центральная Америка. Оттуда они были вывезены для добычи кармина в некоторые страны Старого Света, самые северные из которых — Испания и Южная Франция. Кармин, по крайней мере — до начала 30-х годов, был единственным вполне безвредным красным красителем, допускавшимся для подмешивания к пище, и был особенно необходим для кондитерской промышленности. Его приходилось ввозить из-за границы. Стремясь сократить ввоз импортных продуктов, пищевое ведомство в 1929 г. обратилось в Московский университет с запросом о возможности замены мексиканской кошенили каким-либо отечественным источником кармина. Ответить на этот запрос поручили, как энтомологу, мне. Я знал, что в Армении водится так называемая араратская кошениль, далекая по систематическому положению и по образу жизни от мексиканской, но, как и та, содержащая кармин и бывшая когда-то предметом местного промысла. Из одной небольшой монографии начала прошлого столетия я узнал, что кармин, добывавшийся из этой кошенили, употреблялся в качестве краски для печати католикоса, а также для иллюстрации и украшения заставок рукописных книг. Но главное — в этой книжке было указано кормовое растение араратской кошенили и названы селения в долине Аракса, близ которых ее собирали. Я ответил, что могу попытаться найти эту кошениль, определить ее запасы и выяснить, возможно ли ее добывать в промысловом количестве. Финансировать возрождение древнего промысла из патриотических соображений согласился Совнарком Армении. В начале сентября 1929 г. я с Н. А. Емельяновой (энтомологом) и Н. Т. Кахидзе (ботаником) выехал в Эривань. Кошениль мы нашли, и два последующих года я занимался ею в Армении, а в 1930 г. нашел другого содержащего кармин червеца также и в Средней Азии.

Лето 1930 г. у меня по программе было очень заполнено работой. В начале его мне предстояло поехать с А. Н. Желоховцевым в Среднюю Азию, чтобы поискать там вместе с ним карминоносных червецов. В случае, если они там найдутся, Желоховцев должен был остаться где-либо там для их изучения и изыскания способов сбора, а мне надлежало для этих же целей направиться в Армению, где меня ожидала араратская кошениль. Но я в то время состоял в одном институте железнодорожного ведомства консультантом по вопросам борьбы с насекомыми, разрушающими древесину в станционных зданиях, деревянных мостах, шпалах и т. п., и мне было поручено выяснить размеры вреда, причиняемого термитами на Среднеазиатской железной дороге, особенно же в Туркмении. Поэтому в мой план входило, закончивши поиски кошенили в Узбекистане, обследовать деятельность термитов на участке дороги от Чарджуя до Красноводска, а оттуда на пароходе переправиться в Баку и ехать дальше — в Эривань.

По расчету все эти работы должны были занять месяцев 5—6. Мне предстояло постоянное передвижение. Поэтому багаж с собой таскать следовало возможно легкий. Рабочее оборудование и одежду я свел до минимума. Но как быть с книгами — ведь на полгода их нужно много. В таких поездках всегда приходится чего-то долго ожидать, а это занятие без чтения непереносимо. Я нашел выход в том, чтобы количество книг возместить их качеством. Решил, что возьму с собой только две небольшие книжечки.

Шел уже второй год как мне вполне раскрылась поэзия Мандельштама. Случилось как-то так, что его «Камень» прошел мимо меня. Может быть, это произошло

по причине, что он попал мне в руки во время моего тяжелого заболевания Блоком и начала ослепления Пушкиным, Тютчевым, Гете и Горацием, не говоря уже об увлечении пестрой шумихой, поднятой ранними и поздними футуристами, имажинистами и другими «новыми» поэтами. Оценить при этих условиях драгоценности «Камня» было не по плечу, хотя бы только по моей незрелости. Но «Tristia» ударили меня всей своей силой в ту пору, когда я не мог ее не почувствовать. И вот уже больше года я завораживал себя бормотаньем волшебных стихов этого сборника. Небольшую книжечку в красной обложке я и решил взять с собой в долгое путешествие. Другая была — один из сборников Пастернака, кажется, «Поверх барьеров» или «Темы и вариации».

Мне следовало быть в Эривани ко времени массового выхода самок кошенили на поверхность земли для оплодотворения. Этот срок тогда еще не был мне известен. Я боялся опоздать к нему и поэтому старался как можно скорее выполнить всю среднеазиатскую часть своей программы. Но непредвиденные задержки возникали одна за другой. Позднее намеченного срока я расстался с Желоховцевым в Новой Бухаре и принялся за выполнение своего железнодорожного задания. Но вскоре почувствовал, что что-то не в порядке с животом. Кишечные болезни всегда сильно ослабляют. Но я не мог прекратить свою работу. Нужно было продвигаться на запад с остановками для обследований на каждой станции. Так, наконец, я добрался до Ашхабада. Там в гостинице в первую же ночь понял, что заболел по-настоящему. — Снились кошмарные сны, а утром едва хватило сил подняться с постели, все же оделся, с трудом вышел на крыльцо гостиницы и подозвал проезжавшего извозчика. Он перенес мой небольшой багаж в свой фаэтон и доставил меня сначала к директору тамошнего музея, моему единственному знакомому в этом городе, у которого оставил вещи, а затем — в больницу. Там смерили температуру. Она была выше сорока. Врач очень скоро определил один из паратифов. В больнице я был первый раз в жизни, а с тюрьмой еще не был знаком. Поэтому больничное лишение свободы показалось мне чем-то ужасным. Однако лечение, по-видимому, шло успешно. Приблизительно через неделю я почувствовал, что дело пошло на поправку. Только держалась повышенная температура. Тогда я стал потихоньку вынимать градусник, пока ртуть еще не дошла до красной черточки, и через три дня уговорил врача выписать меня. Слаб я был еще, конечно, ужасно, но все же принялся за свою работу на последнем участке от Ашхабада до Красноводска. До сих пор удивляюсь, как я тогда остался жив. Но в Красноводске я заметил явный признак выздоровления: появилась непреодолимая потребность в сладком, к которому обычно бываю совсем равнодушен. На базаре купил с кило или полтора каких-то подозрительных, очень грязных развесных леденцов и пожирал их на пароходе, шедшем в Баку, несмотря на довольно сильную, как всегда в центре Каспия, качку.

Приехав в Эривань, я тотчас же устремился на расположенные неподалеку кошенильные солончаки и вздохнул с облегчением. Кошениль явно еще не собиралась заканчивать свое развитие под землей. Как я мог определить, до превращения ей оставался еще добрый месяц. Это мне было очень на руку. Все-таки я сильно ослабел от болезни, да и не отдохнул несколько от московских дел, кстати, очень неприятных по причине, о которой расскажу когда-нибудь, если успею. Предстоящий месяц безделья меня радовал.

Конечно, о номере в единственной тогда Эриванской гостинице нечего было и думать. Да и обиделись бы Тер-Оганяны, у которых я с обеими своими дамами останавливался в прошлом году. Самые нежные воспоминания у меня остались об этой семье. И очень хочется теперь же рассказать о них. Но и без попутных воспоминаний все тащит меня куда-то в сторону. Скажу только необходимое. — Их было четыре сестры и три брата. В домике, оставшемся после родителей, очень типичном для старой Эривани особнячке с внутренним небольшим двором, выходящей на него галереей

и с огромным цоколем-полуподвалом, жили оставшиеся незамужними две сестры и холостой же средний брат. Для остальной родни этот домик был местом съездов или сходов. Достатки его постоянных обитателей были очень скромны. Но для меня было огромной трудностью найти способ оплачивать их гостеприимство, так как простое денежное участие в их хозяйственных расходах абсолютно исключалось. Принимались только подарки в виде сладостей или фруктов. Но нельзя же было свыше всякой потребности заваливать этих скромных людей кондитерскими изделиями, а фрукты в Армении были слишком дешевы. Мне удалось только выговорить себе разрешение обедать не у них.

В странах старой винной культуры чай бывает не в ходу. Жажду там утоляют вином или холодной водой, кстати, — в Эривани на редкость вкусной. В обычном эриванском ресторане, столовой, кофейне можно получить кофе, какао, сладкое молоко, простоквашу (мацун), — только не чай. В среднеазиатских городах я проводил свободные от дел часы в чайханах. Там читал, писал и одну за другой заказывал порции чая, который пил непрерывно. В Эривани получить чай можно было только в турецких харчевнях на базаре. Но это были не среднеазиатские чайханы, в которых питье чая было главным занятием посетителей. Здесь подавалась главным образом еда. Верно, после нее можно было затребовать чай или черный кофе по-турецки. Но расположиться в харчевне надолго только за чаем было неудобно. Да и не очень уютно было долго сидеть среди базарного шума и пыли.

Эриванский базар примыкал к большой площади, заваленной тогда массой обтесанного камня, предназначенного, по-видимому, для какого-то строительства. Эта каменная свалка вплотную подходила к стене, огораживающей двор главной мечети. Майоликовые купола и зелень деревьев возвышались над стеной. Но главные ворота мечети, выходящие на площадь, были заперты. Однажды, проходя вдоль другой стены мечетного двора, я увидел в ней небольшие ворота. Они были открыты. Я вошел во двор мечети и просто остолбенел. — По соседству с самой непривлекательной частью города находился рай. Двор, выложенный каменными плитами, со всех сторон был обсажен мощными вязами, создававшими защиту от пыли окружающих улиц и, как казалось, даже от шума. Из-за деревьев проглядывали стены мечети и относящихся к ней построек. Посреди дворика находился небольшой прямоугольной формы бассейн с двумя фонтанчиками. В нем плавали две белые утки. Бассейн тоже был обсажен с двух сторон развесистыми карагачами, между которыми стояли массивные, вытесанные из камня скамьи. Под одним из деревьев помещался стол, а на нем — огромный желтой меди самовар и арсенал чайной посуды. Несколько турков, большей частью пожилых, сидели на скамьях, одни молча, другие — негромко переговариваясь между собой. Чайчи, тоже немолодой, бесшумно и неторопливо разносил и убирал стаканы. Я присел на одной из скамей. Мое появление не привлекло никакого явного внимания присутствовавших. Подошел чайчи и спросил: «Чай?» — Да. — «Сладкий?» — Нет. Чай был, как всегда в чайханах, хорошо заварен и горячий.

От всякого национализма отдает чем-то глуповатым и смешным, а крайние его проявления отвратительны. Тем не менее я замечал за собой, что в путешествиях при возможности выбора я предпочитал находиться среди мусульман. Ведь и наблюдения над кошенилью можно было вести обосновавшись в каком-нибудь армянском селении, но я сознательно выбрал турецкий Улия Сарванляр. Вот и здесь, в столице Армении, я нашел себе прибежище во дворе мечети. Открыв его, я понял, что с этого дня мое, все же в какой-то степени томительное и стеснительное, ожидание выхода кошенили превращается в чудный отдых, так необходимый для полного восстановления сил.

Порядок дня у меня установился следующий. — После утреннего завтрака с Тер-Оганянами я, забрав две свои книжечки стихов, шел в направлении базара, по дороге

покупал свежие центральные и выходящие на русском языке местные газеты. Они служили мне отчасти для чтения, но больше в качестве подкладки на каменную скамью, слишком жесткую для меня при сильном моем исхудании. Придя в мечеть, я принимался за чтение, а иногда что-нибудь писал. Чайчи, уже не спрашивая, приносил мне чай. Круг постоянных заседателей под сенью карагачей у бассейна с белыми уточками был невелик. Скоро они привыкли ко мне и стали отвечать на мое общее приветствие вместе с чайчи. Тюркский язык я понимал очень плохо. Поэтому содержание тихих бесед посетителей чайханы было мне мало понятно. В их речи решительно преобладали имена числительные. Это указывало, что обсуждались преимущественно вопросы базарные или вообще коммерческие. Иногда, впрочем, речь шла о политике или о религии. Об этих предметах чаще говорилось, когда к компании присоединился главный мулла Эривани. Он, по-видимому, жил при мечети. Это был довольно высокий, красивый и, как большинство мусульманских духовных, важный старик. Говорили, что он необычайно учен и получил свое образование в очень известном шиитском медресе в Тебризе. Присутствовавшие встречали его очень почтительно. Я вместе со всеми привставал и кланялся ему. Скоро и он стал отвечать мне отдельным кивком с вежливой улыбкой. Русского он не знал или делал вид, что не знает. Однажды через одного говорившего по-русски тюрка он задал мне несколько очень общих вопросов, касающихся моего происхождения, образования и рода занятий. После этого он с похвалой отозвался о профессии ученого, которую, несомненно, считал и своей, и мы коротко обменялись необходимыми любезностями. Когда наступал час обеда, я отправлялся на базар в тюркскую же харчевню. Обед мой почти неизменно состоял из горшочка питу и порции шашлыка. Появлявшейся после этого жажды вполне хватало на то, чтобы, вернувшись в мечеть, утолить ее неспешно стакан за стаканом чая часов до 5—7 вечера. Возвращаясь домой снова через базар и по торговым улицам, я покупал то, что можно было презентовать Тер-Оганянам, и вечер проводил с ними и с заходившими к ним почти каждый день многочисленными их родственниками. При таком режиме восстановление моих сил шло гигантскими шагами.

Однажды, уже незадолго до выхода кошенили, я сидел после обеда на своем обычном месте в чайхане. После прочтения в сотый раз какого-то стихотворения в одной из своих книжечек я отложил их в сторону и был занят своими мыслями. В это время вошли во дворик и направлялись к бассейну два человека, по внешности не здешних. Один был заметно старше меня, немного ниже моего роста, в белой рубашке, заправленной в брюки, и в серой кепке. Он шел с легкой улыбкой, оглядываясь по сторонам, и можно было понять, что сюда он попал впервые. Его спутником был молодой человек, очень вертлявый, что-то говоривший и жестикулирующий. На нем была светло-красная спортивная рубашка с черными обшлагами рукавов и воротом и с белой шнуровкой на груди, очень жалкие брючонки и резиновые тапки. Старший из пришедших, продолжая оглядывать дворик, очень тихо и ни к кому не обращаясь, произнес: «Как здесь хорошо» — и присел на соседнюю с моей скамью. Молодой человек порыскал вокруг бассейна, вернулся и начал задавать многочисленным в это время посетителям чайханы разные вопросы, касающиеся мечети. Те, что понимали по-русски, отвечали крайне скупое. Тогда он переключился на меня. Он (впрочем, как я узнал потом, также и его спутник) принял меня, сильно загоревшего и не типичной русской внешности человека, за тюрка, пришедшего сюда, как, по его мнению, и все, кто здесь находился, для отправления религиозных действий. Убедившись, что в этом он ошибся, он принялся доискиваться, зачем же я здесь, кто я, чем занимаюсь и т. д. Меня эта настырность сильно раздражала, и мне хотелось послать этого надоедного парня к черту. Но у меня всегда не хватало духу сказать грубость человеку, хотя мне и неприятному, но говорящему со мной вежливо. Поэ-

тому Леве (так звали этого малого) удалось вытянуть из меня по капле все, что мучило его любопытство. Достиг этого он, обратившись к своему спутнику, молчаливо сидевшему со скрещенными руками и продолжавшему все с той же легкой улыбкой разглядывать все окружающее, воскликнул: — Осип Эмильевич! Вот товарищ занимается здесь очень интересным делом.

Молчаливый посетитель встал, улыбка его расширилась, он протянул мне руку и представился: — Мандельштам. — Я, также вставши, в свою очередь отрекомендовался по фамилии. Дело начинало мне сильно не нравиться. — Вот теперь они примутся приставать ко мне вдвоем. Но скоро выяснилось, что я ошибся в своих мрачных предположениях. Лева, сдав меня старшему товарищу, на время замолчал и стал прислушиваться к нашему разговору. В нем мой новый собеседник сразу же проявил особую вежливость, которая разделяет поколения интеллигентов «до» и «после», которая уже к началу 30-х годов встречалась не очень часто, а теперь о ней вообще не имеют понятия, и научиться ей уже больше нельзя. Это меня немного успокоило. На этой взаимной вежливости уже можно было поддерживать ставший неизбежным разговор, не заводя его слишком далеко и имея надежду на более или менее скорое окончание. Мое впечатление, что оба незнакомца люди не местные, подтвердилось. Становилась все ясней какая-то причастность их к литературе. — Какие-нибудь газетчики, очеркисты или что-то в этом роде. Когда это стало уже несомненным, я, не очень в правилах установившейся в нашем разговоре вежливости, спросил: «Ну и что же вы должны здесь воспевать?» — Мой собеседник, премило улыбнувшись и высоко подняв брови, выпалил: «А ничего!» Было ясно, что он понял колкость моего вопроса, но, словно не замечая ее, продолжал вести нашу почти салонную беседу. Она вертелась около кошенили. Я заметил, что все же он спрашивал меня о ней с интересом, по крайней мере к ее национально-культурной истории. Вероятно, это и заставило меня сказать, что кошениль попала и в нашу поэзию. — «Кто же о ней писал?» Я сказал, что о ней упоминает Пастернак и, как видно, грамотно. Я имел в виду

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил ¹.

В ответ было: «Да, Борис Леонидович всегда грамотен в своих стихах».

Тут во мне как бы сработал спусковой механизм. Мгновенно пронеслась в голове цепь мыслей. — Разве этот человек похож на тех, кто ездит в творческие командировки и хватает без церемонии каждого, кто может дать что-то для расцветивания имеющего появиться в результате командировки слащаво-лживого репортажа, очерка, романа? Он называет Пастернака по имени и отчеству. И опять-таки он явно не из тех, кто хотел бы показать постороннему, что он с Пушкиным на короткой ноге. Вертлявый тип называет его Осипом Эмильевичем. Да ведь он и сам назвал мне свою фамилию!

После мне стало понятно, что досада от появления в «моей» мечети неподходящих людей затормозила меня и я сразу же не сделал всех этих сопоставлений. Даже явственно слышанная фамилия меня ни на что не натолкнула. Она не так уж редка. Я и мысли не допускал, что поэт, стихами которого я бредил наяву, вдруг в самый разгар этого бреда появился передо мной. А он, мало того что появился, но еще целых полчаса заставлял меня желать, чтобы он убрался со своим компаньоном восвояси. Все это, я говорю, пронеслось в моем мозгу в единое мгновение. Я ничего не анали-

¹ 2-я строфа стихотворения Б. Л. Пастернака «Послесловие» из книги «Сестра моя — жизнь».

зировав, ни секунды не колебался. Вскочил, как ошпаренный, и закричал: «Да ведь я же вас знаю!» Не было ли это единственным во взрослой моей жизни случаем полной потери самообладания? Я не задумывался, как будет принят этот мой почти вопль. А принят он был наипростейшим образом. — О. Э. встал и, опять протянув мне руку, сказал все с той же улыбкой: «Ну, давайте теперь знакомиться заново».

Стихотворение Мандельштама «Батюшков», написанное два года спустя, всегда вызывает у меня воспоминание о нашей первой встрече. Но даже и на следующий день я не мог бы рассказать, о чем мы говорили после вторичного рукопожатия. Помню только, что вдруг понесся поток мыслей, словно вырвавшихся на свободу и куда-то спешащих. Я все же сознавал, что завтра мне нужно ехать в Сарванляр, чтобы выяснить, не собирается ли кошениль выходить на поверхность. Поэтому спросил О. Э., застану ли его в Эривани по возвращении через два дня. Узнав, что застану, успокоился.

Но время шло к вечеру. Чайчи принялся убирать посуду. Нужно было уходить. О. Э. хотел непременно познакомить меня со своей женой и настаивал, чтобы я шел с ним в гостиницу, где они жили. Мы пошли, ни на минуту не прекращая вести свой горячечный разговор. Я не заметил, как Лева по пути где-то потерялся. И вообще этот Лева больше никогда мне не встречался. Кажется, с О. Э. он был знаком по работе в редакции комсомольской газеты, где Мандельштам то ли заведовал стихотворным отделом, то ли был в нем консультантом («Присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей»¹). А может быть, и просто был одним из тех странноватых для меня молодых людей, которые появлялись временами около него, имея, по большей части, некоторые специфичные задания.

Дойдя до своего номера в гостинице, О. Э. распахнул его дверь и с порога закричал: «Наденька, вот со мной пришел...» На кровати сидела отложившая в сторону книгу и натянувшая до подбородка одеяло Надежда Яковлевна. После она рассказывала мне, что лежала совсем раздетая, но услышавши, что по коридору, с кем-то разговаривая, идет О. Э., поспешила закрыться одеялом. О. Э. осведомил ее об обстоятельствах нашей встречи и собирался продолжать наш разговор с ее участием. Не помню, каким способом она дала ему понять неудобство своего положения. Я решил, что она просто нездорова. Мы условились встретиться завтра же утром у меня, т. е. в доме Тер-Оганянов, а потом пойти обедать в мою тюркскую харчевню, после чего должен был отправиться на вокзал.

Я несся из гостиницы к себе на улицу Спандарян, не чувствуя земли под ногами. Объяснить свою радость моим хозяевам я не мог. Они не читали стихов Мандельштама, да и других не читали. И не думали, что такое занятие может интересовать меня. Однако исходившее от меня свечение радостью они заметили, и я им сказал, что встретил очень близких друзей.

Встреча с Мандельштамом обрадовала меня еще и по одной особой причине. — С того дня, как мне стали знакомы его «Tristia», я пытался узнать, где он теперь и что делает. На это мне никто не отвечал толком. Причастные к литературе мои знакомые говорили на эту тему с явной неохотой. Упоминали что-то о плагиате, который он будто бы совершил при переводе (?!) «Тилия Уленшпигеля», что он сошел с ума, что совсем перестал писать. Человек, с которым я нынче познакомился, не мог быть никем иным, кроме как автором тех стихов, что я знал. Он был прекрасен, как стихи.

Когда человек не идет, то он сидит или лежит. Сидячие и лежачие — люди двух принципиально различных категорий. Сам я, лежа, могу делать только одно: — спать. Лежачие же в этом положении часто ведут беседу, даже с гостями, пишут, а уж читают только лежа. Отказываюсь судить, какой образ жизни правильной или лучше. Поде-

¹ Строка из стихотворения О. Э. Мандельштама «Квартира тиха, как бумага...»

люсь только одним наблюдением. — Лежачие обычно не бывают пунктуальны. Мандельштамы были лежачие. Пришли они на следующее утро, конечно, гораздо позднее назначенного времени. Пора было уже скоро идти на базар обедать. Когда я об этом сказал, они переглянулись, и О. Э. с отчаянной решимостью выпалил, что обедать они не пойдут: у них нет ни копейки денег. Они и не подозревали, какое удовольствие доставило мне это заявление. Начать знакомство с того, чтобы накормить их, видно, голодных, восхитительным обедом, было просто замечательно. Обед, конечно, состоялся. Я уехал в Сарванляр. Через два дня вернулся, выяснив, что через неделю мне будет нужно ехать туда уже фундаментально.

За эту неделю и еще за несколько дней, проведенных в Эривани перед отъездом Москву, я имел возможность достаточно приглядеться к Мандельштамам. Они, особенно О. Э., были по образу жизни прямой противоположностью мне. Насколько мне всегда были необходимы режим, размеренность, ориентировка во времени, ощущение почвы под ногами, постоянство обстановки, определенность перспектив, хотя бы ближайших, настолько им все это было совсем чуждо. Казалось, они нигде никогда не жили (в смысле оседлого пребывания), а только словно бы присаживались там или здесь в непрерывном кочевании без всякого направления. Их дни протекали так или иначе в зависимости от того, какое у них самочувствие, как складывалась обстановка, кто зашел из знакомых и т. п. Если строились какие-то планы, то только затем, чтобы их сейчас же нарушить. При этом чем категоричнее высказывалось намерение поступить каким-либо образом, чем лучше это было мотивировано, тем вернее было, что так сделано не будет. И все это на фоне постоянного острого безденежья.

Отношения близкой дружбы у нас установились даже не быстро, а словно мгновенно. Я был тотчас же втянут во все их планы и злосчастья. И с первого до последнего дня нашего общения каждая наша встреча состояла из смеси разговоров на самые высокие темы, обсуждения способов выхода из безвыходных положений, принятия невыполнимых (а если выполнимых, то не выполняемых) решений и, как я уже говорил, — шуток и хохота даже при самых мрачных обстоятельствах. Конечно, при коренном различии наших характеров и привычек дружба с Мандельштамами порой меня просто нервно изматывала. Но ведь все наши несходства относились только к житейским делам. Все же остальное, т. е. именно то, что составляло настоящую сущность обоих Мандельштамов в их отношении к вещам, событиям и людям, никогда не вызывало у меня ни малейшей досады. Но их беды причиняли мне сильнейшую сердечную боль.

Последние дни в Эривани прошли в бесконечных разговорах о планах на будущее. — Ехать в Москву добиваться чего-то нового, какого-то устройства там или оставаться в Армении? Трудно сосчитать, сколько раз решение этого вопроса изменялось. Но ко дню моего отъезда было решено окончательно. — Возможно только одно: остаться здесь. Только в обстановке древнейшей армянской культуры, через вращение в жизнь, в историю и в искусство Армении (имелось, конечно, в виду и полное овладение армянским языком) может наступить конец творческой летаргии. Возвращение в Москву исключено абсолютно. Я простился с Мандельштамами — как мы были уверены, навсегда — накануне дня своего отъезда. Сам этот день был целиком предназначен для прощания со всеми друзьями-армянами. А я хорошо представлял, какая это будет серьезная операция, и молил Бога о ниспослании мне сил для предстоявших угощений лучшими образцами араратовских коньяков. Операцию эту я провел, но уж лучше не буду вспоминать о состоянии, в какое она меня привела к концу дня.

О дружбе

Вернувшись в Москву, я завертелся в своих обычных делах — университетских, кошенильных, термитных и во всяких других. Дома тяжело висели неудачи с поступлением брата в вуз. В те годы туда принимались только дети рабочих и крестьян, а также, понятно, — высокопоставленных родителей. У брата был обнаружен и развивался туберкулез, от которого он через немного лет и помер. Если раздумья о судьбе Мандельштамов поглощали меня в Эривани как почти единственные, то здесь они оказались разбавленными. Порой казалось странным и нелепым, что встреча в Эривани останется только кратковременным эпизодом моей жизни. Хотелось узнать что-нибудь о них. Над. Як. дала мне адрес и телефон своего брата Е. Я. Хазина. Но время бежало очень быстро, и я все откладывал установление связи с ним.

Не помню точно, в каком позднеосеннем месяце меня позвали к телефону. Я был изумлен, услышав голос Н. Я. В то время я еще недостаточно привык к тому, что решения, принимаемые О. Э., почти наверное заменяются противоположными. Твердо решив остаться в Армении, Мандельштамы, конечно же, должны были вскоре приехать в Москву. Трубку вскоре взял О. Э. Его голос был бодрый и радостный. Он прежде всего сообщил мне главную новость. — «А я опять стал писать. Какие у меня есть новые стихи!» — Я немедленно отправился к ним. Мы встретились так, будто расстались только вчера. Когда я напомнил, что решение остаться в Армении было окончательным, О. Э. воскликнул: «Чушь! Бред собачий!» Словно бы речь шла действительно о чем-то, приснившемся в бредовом сне. Я и после замечал, что он, унесенный неизвестно откуда взявшимися и по всему духу чуждыми ему умственными построениями, вдруг точно просыпался и отряхивался от этой искусственной чуши, в которую ему, однако, еще накануне вполне искренне хотелось верить. Особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, каким она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалистическое будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте при этих заскоках у него не было. Всякий, кто близко и дружески с ним соприкасался, знает, до чего он был бескомпромиссен во всем, что относилось к искусству или к морали. Я не сомневаюсь, что если бы я резко разошелся с ним в этих областях, то наша дружба стала бы невозможной. Но когда он начинал свое очередное правоверное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним. — «Ну, Борис Сергеевич, ну ведь правда же это хорошо». А через день-два: «Неужели я это говорил? Чушь! Бред собачий!»

Сейчас я видел пробуждение О. Э. не после какого-то рядового заскока, но необычайно полное, всеобщее. Он был в сильной агитации, в какой я его ни разу не видал в Эривани. Ни о чем, относящемся к повседневным нуждам, к быту, не говорилось, как словно бы эти вопросы были решены и теперь можно и нужно было говорить только о главном. Об этом и говорилось. Вперемежку, как всегда, с грохотом смеха. Главным были стихи. — Цикл стихов об Армении. И было начато или еще только задумано «Путешествие в Армению».

С этого дня все пошло так, как только и может идти с Мандельштамами. — Появление чудных стихов. Возникновение новых заскоков. Пробуждения после них. И непрерывное бедствие. Негде жить. Покамест приютились у Е. Я. Хазина. Но у него не квартира, а комната. И он не один. — Жена. И в той же квартире теща, дама, которую я не видал ни разу, но, как можно было судить, довольно страшная.

Я сейчас не помню годов последовательных кочевков Мандельштамов. На небольшое время они поселились в комнате уехавшего, кажется, в отпуск брата О. Э., Александра Эм., жившего в одном из переулков на Маросейке. Там-то их соседом и оказался «еврейский музыкант» Александр Герцевич, намерчивавший Шуберта¹. Потом отправились в Ленинград. «Видавшие виды манатки»² — старый расплывающийся чемодан, старая же корзина и еще какие-то связанные коробки были погружены в пролетку одного из последних в Москве извозчиков. Где-то среди вещей или на них уместились Н. Я. и О. Э. Когда пролетка тронулась, О. Э., махая на прощанье рукой, кричал мне: «Борис Сергеевич, не носите крахмальные воротнички. Их нельзя носить. Они вас погубят». Возможно, он был прав. Потом возвращение из Ленинграда. Появилось «Я вернулся в свой город»³. И как уже тогда были понятны эти «шевелия кандалами цепочек дверных». Появилась «полуспаленка-полутюрма»⁴ — комнатка сестры Н. Я. в Ленинграде. Потом довольно длительная оседлость в Доме Герцена на Тверском бульваре. Там все кишело всякой писательской шушерой и провокаторами. Тихий и серьезный Миша Рудерман приехал в Москву изучать высший пилотаж поэтического мастерства у Иосифа Уткина, жившего в том же доме, но не в комнатке, а в приличной квартире, так как был он в то время в почете. Миша сообразил, что и у Мандельштама можно кой-чему поучиться. Не раз я заставал его у О. Э. Он выучился, чему хотел. Услышав через несколько лет его разудалую «Тачанку-ростовчанку», популярность которой побила произведения его учителей, я подивился казачьей лихости этого благонаправленного иудейского юноши.

Сейчас мне трудно припомнить, при каких обстоятельствах немного улучшились материальные дела Мандельштамов. Были опубликованы «Путешествие в Армению»⁵ и цикл стихов об Армении⁶. Организовано выступление О. Э. со стихами в Ленинграде⁷. Дана квартира в Нащокинском переулке⁸. Но моя забывчивость имеет некоторое оправдание. — Ведь в это время жил и я сам. Было много своих трудных и поглощавших мое внимание дел. А мои профессиональные и служебные интересы были далеки от того, чем жили Мандельштамы. В то же время редкий день мы не встречались. И создавалась какая-то мозаика, которую мне теперь просто невозможно распутать.

Стихотворение «К немецкой речи» посвящено мне. Но обращено оно к обозначенному в заглавии адресату. Не ко мне прямо. Однако в нем есть слова, очень для меня значительные:

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.

О. Э. дружба была необходима. Хорошие, даже близкие отношения у него были со многими. Начиная с родственников, своих и жениных. Вернейшим другом-спутником была, конечно, Н. Я. Но она была жена. А друг — нечто совсем иное. Из тех, кого я встречал у Мандельштамов, я не могу назвать ни одного близкого друга О. Э. Ближе других, пожалуй, был В. И. Нарбут. Приятельские отношения с прежних лет сохранились с М. А. Зенкевичем, меньше с Городецким. Но эти двое были уж очень много

¹ См. стихотворение О. Э. Мандельштама «Жил Александр Герцевич...»

² Строка из стихотворения О. Э. Мандельштама «Квартира тиха, как бумага...»

³ Стихотворение О. Э. Мандельштама «Ленинград» («Я вернулся в мой город...»).

⁴ Строка из стихотворения О. Э. Мандельштама «Я с дымящей лучиной вхожу...»

⁵ «Звезда». 1933. № 5. С. 103—125.

⁶ «Новый мир». 1931. № 3. С. 62—63.

⁷ Весна 1933 г.

⁸ Осень 1933 г.; Нащокинский пер., д. 5, кв. 26.

ниже калибром (общим, человеческим), чтобы быть его друзьями. С необычайным уважением, мало того, — с каким-то пиететом, относился О. Э. к А. А. Ахматовой. В нащокинской квартире одна из комнат была почти лишена мебели и обычно пустовала. Ее и отводили А. А., останавливавшейся в Москве у Мандельштамов, и О. Э. окрестил ее «капищем Анны Андреевны». Также и после его смерти А. А. всегда была связана с Н. Я. Но я все же не назвал бы этих отношений полного взаимного признания, восхищения и понимания дружбой. Мне кажется, что настоящим другом не может стать человек, так глубоко занятый самим собой.

Раз уж зашла речь об А. А., о которой я вряд ли успею написать отдельно, то, хоть и не очень кстати, скажу о ней нечто здесь. Это очень субъективно, и я не могу сам определить, почему в искусстве одно меня потрясает и заставляет смотреть, слушать или читать это по многу раз, а припоминать — постоянно, а другое такого действия на меня не оказывает, хотя бы я вполне понимал, что эти стихи, музыкальная пьеса, здание и т. п. хороши, даже очень хороши. Первого рода произведения я про себя называю хлебом. А вторые для меня не хлеб. И вот стихи Ахматовой никогда мною не воспринимались как хлеб. После того, как я познакомился с ней самой, а особенно — поддаваясь воздействию О. Э., я почти убедил себя, что ее поэзией можно насытиться. Но в конце концов все-таки окончательно уверился, что она не для меня. Так же я не могу принять И. Анненского. Люблю по-настоящему только его перевод одного стихотворения Сюлли Прюдома¹. Почему у меня не ладится с ним, — я не могу понять. А причину неприятия Ахматовой я раскрыл. — Ведь решительно каждое ее стихотворение как бы произносится перед зеркалом. — «Вот я грущу. Красиво грущу?» «Вот я села. Красиво села?» — Я был поражен, когда прочитал о ней у Блока почти то же самое². Верно, это было им сказано еще в начале его знакомства с ней и, возможно, после он свое мнение изменил. А от моего оно отличается тем, что вместо «зеркала» в нем стоит «мужчина». Очень может быть, что прав Блок. На что же и зеркало в конце концов, как не для репетиции предстоящей сцены с мужчиной? Но все же очень многое заставляет меня хотеть думать об А. А. как только возможно хорошо (это не так уж просто!), а моя формулировка мягче блоковской. Однако, как бы там ни было, забота о позиции перед мужчиной или перед зеркалом, вообще забота о своем портрете не может быть основой творчества великого художника. Не позволяет она и полностью отдаваться дружбе. Кстати, эта забота совсем не просвечивает в стихах Цветаевой. И она умела быть другом.

С явной симпатией, может быть, правильнее было бы даже сказать — с любовью, относился О. Э. к своему соседу по квартире в доме Герцена С. А. Клычкову³. Но при несомненном своем таланте Клычков все же вряд ли мог быть полноценным партнером в большой дружбе с человеком такого отточенного интеллекта, тончайшей интуиции и гуманитарной образованности, каким был О. Э. Впрочем, это соображение может быть совсем неверным. Ведь казалось бы, что по тем же самым основаниям О. Э., перебравшись в Москву, должен был очень сблизиться с Б. Л. Пастернаком. Однако это не произошло. Я ни от кого не слышал, что Пастернак говорил или думал о Мандельштаме. О. Э. во всех разговорах со мной проявлял к Б. Л. полное уважение и отзывался о нем как-то подчеркнуто лестно. Но никогда не восторженно. А встречались они совсем не часто, и обычно во время приездов в Москву Ахматовой. Трудно мне также предположить, что для большого поэта могут просто как бы не существовать такие современники, как М. А. Кузмин, по крайней мере — поздний, или Ходасевич. Никогда я ни слова не слышал от О. Э. о М. Цветаевой. Только после свидания

¹ Речь идет о стихотворении «Идеал» («Прозрачна высь. Своим доспехом медным...»).

² Речь идёт, по-видимому, о стихотворении А. Блока «Анне Ахматовой» (1913).

³ С. А. Клычков жил в другом флигеле Дома Герцена. Был также соседом по дому в Нащокинском пер. (Мандельштамы жили на 5 этаже, Клычковы — на 1-ом).

с Андреем Белым летом 1933 года в Крыму О. Э. сблизился с ним. Да и то я узнал о новой дружбе не столько из рассказов О. Э. об этой встрече, сколько из стихов, какими он откликнулся на смерть Белого¹.

Мне кажется, что на личных отношениях между писателями сказывается неизбежная, по-видимому, для них литературная партийность, а может быть, и какая-то скрытая ревность. О. Э. не был свободен от них. Как поэта я не могу поставить Бунина в один ряд с Тютчевым, Фетом или Блоком. Но некоторые стихотворения (и не так уж их мало), бесспорно, очень хороши.

Однажды я при Мандельштаме произнес начало последней строфы стихотворения Бунина «Имру-уль-Кайс»:

Ночь тишиной и мраком истомила.
Когда конец?
Ночь, как верблюду, легла и отдалила
От головы крестец.

О. Э. почти шепотом сказал: «Как хорошо. Чье это?» Я назвал автора. На лице О. Э. появилось выражение, точно он проглотил что-то невкусное. Затем настала небольшая пауза, после которой он начал: — «Сразу можно определить слабого поэта. Вот у него...» и т. д.

По всему, что я слышал и от самого О. Э., и от ближайших к нему людей, у меня сложилось мнение, что по-настоящему близким его другом был только Н. С. Гумилёв.

И вот, несмотря на всё, что я говорил в начале этих записок, я всё же позволю себе считать, что дружба связывала О. Э. и со мной. Думаю, он понимал, что в моём отношении к нему проявлялась не только оценка его как поэта, но в равной мере любовь к нему самому. Я говорил, что потребность в дружбе у него была огромная. Но и у меня тоже. А, видимо, чем сильнее эта потребность, тем труднее найти друга. Потому что дружить — дело нелегкое, и не всякий к нему способен. Будучи совершенно откровенен во всем, что здесь пишу, я признаюсь в своём допущении, что завязавшаяся между нами осенью 1930 г. дружба была для О. Э. выстрелом, разбудившим его и возвратившим к поэзии.

Моя миссия у Эренбурга

Очень открытый Мандельштам легко сходил с людьми при первой же встрече. Я к этому привык и знал, что его восторженным отзывам о каком-нибудь новом знакомом не всегда нужно придавать значение. Однажды он с восхищением рассказал мне о появившемся по соседству с ним в доме Герцена некоем Амирджанове². Впрочем, говорил он не столько о самом этом человеке, сколько об имевшейся у него статуэтке какого-то японского или китайского божка. В скором времени застал Амирджанова у Мандельштамов я сам. Фигурировал и божок. Он был действительно очень хорош. Хозяин его мне не понравился.

В каком году это было — я не помню. Но летом или поздней весной 1934 г. произошёл безобразный скандал. Н. Я. позвонила мне и просила прийти на квартиру ее брата для обсуждения очень неприятного дела. Там я узнал следующее. — Мандельштамы, как почти всегда, испытывали острое безденежье. Когда-то, по-видимому,

¹ «Голубые глаза и горячая лобная кость» (10 янв. 1934 г.)

² Правильно: Амир Саргиджан.

довольно давно, Амирджанов взял у них займы какую-то сумму. Вряд ли особенно большую. Сильно нуждаясь в деньгах, О. Э. решил теперь их с него стребовать. Нельзя и мысли допустить, чтобы какой бы то ни было разговор он мог вести грубо. Как я говорил, особая вежливость была одной из самых отличительных его черт. В Амирджанове он к этому времени, конечно, успел разобраться, и разговоры о нем со мной кончились. Но от продолжавшихся неудач, а возможно, и от чего-то другого сверх них, О. Э. был в тот период как-то повышенно нервозен. Я не допытывался, каким образом разговор с Амирджановым перешел в перепалку, а затем в драку, при которой какие-то удары или толчки достались и Н. Я. Не узнавал также, как этот скандал вышел за пределы квартиры и вокруг него началась возня в среде писателей, в которой, конечно, нашлось довольно охотников нагадить Мандельштаму. Хороший способ оплевания его был найден в виде постановки вопроса о его поведении на писательском общественном суде. Исход такого суда можно было предвидеть. Нужно было принять любые меры, чтобы он не состоялся. Но через кого? Конечно, решающим могло бы быть вмешательство Горького. Но Мандельштам был далек от него, да и вряд ли он согласился бы обратиться к такому вельможному заступнику. А возможно, что его и не было тогда в Москве. Кроме всего требовалось, чтобы за это дело взялся человек не только влиятельный — таких было еще несколько, — но и несомненный друг Мандельштама, понимающий, что он поэт самой первой величины. Это, безусловно, понимал Эренбург, а личные отношения у него и его жены с обоими Мандельштамами были, как я многократно слышал, достаточно близкие. И — точно Бог послал — они как раз находились в Москве. Но...

В Москву на этот раз Эренбург приехал не как прежде, т. е. чтобы кого-то повидать, где-то показаться, вероятно, в чем-то отчитаться, о чем-то договориться и опять упорхнуть в чуждый, конечно, по духу, но зато удобный для постоянного проживания Париж. Теперь наши высокие инстанции решили, что хватит с него такой жизни. И дома, мол, найдется что делать. Обычно всякие льготы и блага для него исхлопатывал Бухарин, который, как мне говорили, был его товарищем по гимназии. В 1934 г. положение самого Бухарина уже пошатнулось. А кроме того, его на тот момент не было в Москве. Он был довольно надолго куда-то далеко командирован. Эренбурги были в отчаянии. Мадам — художница — просто не представляла себе, как она сможет продолжать заниматься своим искусством, когда в Советском Союзе нет самых необходимых для ее работ материалов и инструментов: настоящих карандашей, кистей, красок, бумаги. Не столь ужасными, но все ощутимыми профессиональными неудобствами угрожала репатриация и Илье Григорьевичу. Понятно, что такой момент был не наилучшим для обращения к нему по щекотливому вопросу. Но ведь речь шла о жизни его друга и — он знал, какого поэта.

Восстанавливая эти события, я с большой досадой то и дело замечаю, как слаба оказалась моя память. — Было бы самым естественным пойти к Эренбургу Надежде Яковлевне, которая, кажется, была приятельницей его жены или, уж во всяком случае, хорошо знала их обоих. Был с ними знаком и Евг. Як. Я не могу припомнить, почему на нашем совете было решено, что пойти к Эренбургу лучше всего мне, совсем не знакомому с ним.

Я застал Эренбурга в хорошем и уютном номере гостиницы, не помню какой. Он был один и при моем появлении поднялся от стола, за которым то ли писал, то ли читал. Отрекомендовавшись, я тотчас же изложил цель своего посещения. О скандале он знал и знал, по-видимому, о готовящемся суде. Выслушав меня, он сказал, что предотвратить этот суд вряд ли возможно. Если бы только этим он и ограничился в разговоре со мной, человеком ему совершенно неизвестным, да в такой трудный для него самого момент, и если бы после этого он объяснил самим Мандельштамам, почему он не может помочь в этом деле или не хотел разговаривать о нем со мной, я

вполне понял бы его поведение, и его имя не стало бы для меня на всю жизнь отвратительно. Я всегда считал незаконным требовать от людей героических поступков. Теми, кто способен на их совершение, мы восхищаемся. Но не герой — не то же самое, что негодяй. Однако Эренбург счел нужным добавить к тому, что он мне сказал, следующее. «Да и помимо всего, согласитесь, что кто-кто, а О. Э., сам постоянно не отдающий долги, в роли кредитора, настойчиво требующего свои деньги, — фигура довольно странная». Этими словами мне в рот был запихнут кляп. Они были абсолютно справедливы. Возражать на них было невозможно. Но произнести их мог человек, не видящий разницы между автором «Тристий» и владельцем мелочной лавочки. Я эту разницу знал. К сожалению, мои собственные денежные дела были не так хороши, чтобы я мог сколько-нибудь существенно выручать Мандельштамов в их безденежье. Но мне и в голову не могло прийти рассматривать О. Э. с точки зрения его кредитоспособности. Зато и сам я с легким сердцем согласился в прошлом, 1933 году, единственном более или менее материально благополучном для Мандельштамов, поехать с ними почти целиком за их счет в Старый Крым, когда после месяца пребывания в ГПУ впервые в жизни почувствовал, что без какого-то отдыха не смогу работать. Слова Эренбурга привели меня в ошолобление. Я автоматически попрощался с ним и выкатился из номера.

И вот после такого отклика на просьбу спасти от гибели его друга и ценимого им поэта Эренбург, преждевременно почувявший «оттепель», роняет в своих мемуарах¹ слезки над Мандельштамом. Но чего можно ожидать от человека, согласившегося в качестве борца «за дело мира» прикрывать на международной арене своим еврейским именем сталинский антисемитизм во время самого его разгула?

Чтобы закончить этот отрывок, скажу, что «суд» состоялся. Председательствовавший на нем А. Толстой явно не старался добавить что-либо от своего личного кляу шавок из Союза писателей, спущенных на Мандельштама. Даже и на символическую пощечину, полученную им от О. Э., он не ответил ничем, могущим дополнительно сгустить нависшую над ним тучу.

Зато тучу, висевшую над Эренбургом, — уж не знаю, с чьей помощью — пронесло. — Ему вновь разрешили проживать в Париже. Оказанные ему милость и доверие он поспешил оправдать. В скором времени в «Известиях» появилась большая его корреспонденция. В начале ее сообщалось, что в Москве нередко на тротуарах можно наблюдать очереди, стоящие перед пустым местом. Это — очереди на такси. А в Париже таксомоторов ожидать не приходится, но зато там сколько-то тысяч их безработных водителей. И дальше на протяжении целого газетного подвала или двух описывалось, как все в СССР хорошо и как все во Франции плохо².

Русские стихи

В доме Герцена, где наряду со знатными представителями советской литературы, но, конечно, в совсем других условиях, проживали и отверженные, одним из соседей Мандельштамов был С. А. Клычков. Его я часто встречал у них, обычно заметно подвыпившего. Люди, вышедшие «из народа», любят прикидываться перед ученой публикой мужиками. Не чужд был этой склонности и С. А. Поэтому он после первого же знакомства решил задирать меня, вернее — оглушать чушью, в которую он сам будто бы верил. — «Вот ведь, по-вашему, никаких чудес на свете не бывает. А моя

¹ Мемуары И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» впервые были опубликованы в журнале «Новый мир» (1960. № 9; 1961. № 1, 9; 1962. № 5; 1963. № 1).

² На улицах Парижа // Известия. 1934. 10 февр.

бабушка сама видела, как сухой куст калины на лесной поляне вдруг ни с того ни с сего сам собой загорелся». Или еще рассказывал, что на какую-то девку из их деревни «находило», что у нее изо рта начинали выпрыгивать лягушки и т. п. «Вот вы, небось, не верите этому, а чудеса-то бывают». Раскусить этот эпатаж было не очень мудрено. Я отвечал ему, что-де почему же мне не верить, раз это было на самом деле, и что его бабушке, как свидетелю, я доверяю ничуть не меньше, чем самому ученому разученому. После нескольких попыток вызвать меня на дискуссию с целью показать тщету и ничтожество науки Клычков понял, что из этой затеи со мной ничего не выйдет, и прекратил свои наскоки. А человек он был очень хороший и талантливый.

Однажды в каком-то споре с Мандельштамом он сказал ему: «А все-таки, О. Э., мозги у вас еврейские». На это Мандельштам немедленно отпарировал: «Ну что ж, возможно. А стихи у меня русские». — «Это верно. Вот это верно!» — с полной искренностью признал Клычков.

Еще бы это было неверно! Для меня Мандельштам не только великий поэт, но именно великий русский поэт. Все им написанное так целиком в духе русской поэзии, что невозможно вообразить, чтобы его стихи были прекрасным переводом поэта-француза, немца или поэта какой угодно другой страны. Их мог написать только русский поэт.

Очень трудно, может быть, даже невозможно сказать, что же так особенно выделяет нашу литературу и чем определяется принадлежность к ней настоящего русского поэта. Быть может, это — особо острое и трепетное восприятие природы, вообще ландшафта, или неодолимая тяга ко всему стихийному. Но больше всего, по-моему, это — сильнейшее ее моральное напряжение. И, конечно, всякий большой поэт должен обожать язык, на котором он пишет, быть зачарованным его звучаньем, звуковой и смысловой магией его слов, игрой и переливами их значения. Поэтому он не может быть дву- или многоязычным.

В Польше в междувоенные годы, особенно в период так называемой «санации», отличавшийся крайним развитием национализма и шовинизма, еврейское происхождение Юлиана Тувима давало повод для самых отвратительных выпадов против него как против польского писателя. Тувим героически и с остервенением отражал их. Он с самым полным правом считал себя польским поэтом. Обладая лингвистическими способностями и зная несколько языков, получивши образование в русской гимназии и по-настоящему понимая все очарование русской поэзии, сам он писал только по-польски. Это был *его* язык, и он любил его, как любит свой язык только поэт.

И стихи Мандельштама русские и никакие другие.

Вспомнив здесь о Клычковой, я все же сообщу еще один эпизод, связанный с ним, хотя и не относящийся к Мандельштаму. — Жена Клычкова ¹ то ли работала в каком-то издательстве, то ли имела отношение к одной из литературных организаций. Однажды, когда она спала, позвонил телефон и кто-то попросил подошедшего Серг. Ант. позвать ее. Он, характерно окая, ответил: «Она спит». Тогда голос в телефоне сообщил, что это звонят из секретариата Горького. На это последовал новый ответ. — «И все-таки она спит». Кто не пережил те времена и не представляет себе бедственного положения опального писателя, не поймет всей дерзости такого ответа.

Читателя! Советчика! Врача!

Еще до знакомства с Мандельштамом я слышал, что он человек очень трудный и с тяжелым характером. Как могло сложиться такое мнение? Думаю, что оснований

¹ Варвара Николаевна Горбачева.

для него могло быть достаточно. Посредственные люди не выносят в других положительных качеств, каких они лишены сами. Они не верят, что такие качества вообще существуют, и воспринимают чужую пронизательность, порядочность, щедрость, доброту и т. п. как притворство или ханжество. Но особенно они не переносят остроумия. Если принять, что самая чувствительная часть человеческого тела — карман, и что самую быструю и острую реакцию обычно вызывает боязнь всякой материальной утраты, то на втором месте следует поставить страх перед насмешкой. А остроумный человек всегда в этом отношении потенциально опасен.

Дружба с Мандельштамом была тяжела и мне. Но по единственной причине. — Страшно было видеть, как он, словно нарочно, рвался к своей гибели. Во всех других отношениях он был, на мой взгляд, удивительно легок для самой тесной дружбы. И это прежде всего потому, что он был человек очень открытый и без дружбы просто дышать не мог. Именно тоской даже не о друге, а хотя бы только о собеседнике, о слушателе вызван его вопль:

Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей — разговора б! ¹

Рождение новых стихов было для О. Э. всегда радостью, которую ему необходимо было с кем-то, и как можно скорее, разделить. Конечно, самым первым его читателем была Н. Я. Ее даже мало назвать читателем, так как обычно она, собственно, и писала стихотворения, т. е. записывала стихи или строфы, которые О. Э. произносил после сосредоточенной внутренней работы, сопровождаемой бормотанием, мычанием, выкриками отдельных слов, шаганием по комнате, беспорядочным курением, а иногда и пожевыванием какой-нибудь еды. При выборе одного из двух или нескольких вариантов он повергал их на суд жены, с которым, впрочем, часто и не соглашался. Но готовое и прошедшее строжайшую собственную оценку стихотворение было необходимо прочесть кому-либо из друзей. Всегда новые стихи, написанные в годы 1930—1934, прослушивал и я.

Я считаю, что слабых, а в молодости — незрелых стихотворений у Мандельштама вообще не было. И это удивительно для поэта. Но тем не менее, я принимал не все писанное им. Не все его стихи звучали для меня одинаково. Допускаю, что установленные мною категории очень субъективны, но я их различал и к первой, абсолютно преобладающей, я относил стихи (и, конечно, прозу), в которых автор предстоял передо мной весь полностью. Их нельзя воспринимать отдельно от всего его облика. При их чтении кажется что О. Э. должен был их написать, что они необходимы как некий особый ракурс, без которого его портрет был бы обеднен. И эти стихи прежде всего беспощадно правдивы, непререкаемо убедительны. В них я узнаю или с ними сопоставляю свои собственные переживания, или через них становится видимым то, мимо чего я до тех пор проходил без внимания. Но всякий человек может увлечься чем-то для него случайным. Даже увлечься сильно и, как ему кажется, искренне. Однако этот предмет остается для него все же только внешним, представление о нем поверхностным, иногда подсказанным кем-то, не результатом озарения после настойчивых и мучительных возвращений к нему, а иногда и обидно неверным. Когда это происходит с художником, то это не может не отразиться на поэтической силе его творения. Происходило это и с Мандельштамом. И я замечал, что в стихах и в прозе, относимых мною к этой категории, он бывает особенно прянен и расточителен в эпитетах, образах и сравнениях, не имеющих, на мой взгляд, безусловной убедительности.

¹ Строки из стихотворения О. Э. Мандельштама «Куда мне деться в этом январе?»

О. Э. прекрасно сознавал свою поэтическую силу. Тем не менее, он, как ребенок, тянувшийся к сладенькому, хотел полного признания того, что он написал. При честной нашей дружбе я не всегда мог доставить ему эту радость и в этих несчастных случаях был с ним вполне правдив. Он тогда явно огорчился. Возражал. А затем словно упрямился: — «Да нет же, Б. С., стихи хорошие. Ну послушайте», — и снова читал написанное. — «Ведь хорошо!» Мои протесты лишь в редких случаях имели последствием внесение некоторых небольших поправок. Но и сам я не изменил свое отношения к тому, что мне казалось написанным не в полную силу Мандельштама.

Однажды утром О. Э. прибежал ко мне один (без Н. Я.), в сильном возбуждении, но веселый. Я понял, что он написал что-то новое, чем было необходимо немедленно поделиться. Этим новым оказалось стихотворение о Сталине¹. Я был потрясен им, и этого не требовалось выражать словами. После паузы остолбенения я спросил О. Э., читал ли он это еще кому-нибудь. — «Никому. Вам первому. Ну, конечно, Наденька...» Я в полном смысле умолял О. Э. обещать, что Н. Я. и я останемся единственными, кто знает об этих стихах. В ответ последовал очень веселый и довольный смех, но все же обещание никому больше эти стихи не читать О. Э. мне дал. Когда он ушел, я сразу же подумал, что немыслимо, чтобы стихи остались неизвестными по крайней мере Евг. Як. (брату Н. Я.) и Анне Андр. при первой же ее встрече с О. Э. А Клычкову? — Нет, не сдержит он своего обещания. Слишком уж ему нужно

Читателя! Советчика! Врача!

Буквально дня через два или три О. Э. со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торга, сообщил мне: «Читал стихи (было понятно, какие) Борису Леонидовичу». У меня оборвалось сердце. Конечно, Б. Л. Пастернак был вне подозрений (как и Ахматова, и Клычков), но около него всегда увивались люди (как и вокруг О. Э.), которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное — мне стало ясно, что за эти несколько дней О. Э. успел прочесть страшные стихи еще не одному своему знакомому. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно. Даже несколько удивительно, что в надлежащее место стихи попали только через год.

Необъяснимый поступок

Познакомившись с Мандельштамом только в 1930 г., я не могу представить себе его без Над. Як. Они были всегда вместе. Вдвоем они, за редкими исключениями, приходили ко мне. Обоих их я всегда заставлял, придя к ним. С обоими шел куда-нибудь. Очень часто супруга друга бывает принудительным дополнением. Никогда я не воспринимал Н. Я. как такое дополнение. Мне даже и не приходила в голову мысль, что я дружу с кем-то одним из них. Предмет наших разговоров несколько не изменялся в зависимости от того, были ли мы вдвоем или втроем. Разве что только с О. Э. мне иногда приходилось в повышенном тоне разговаривать по поводу какого-нибудь его очередного заскока. С Н. Я. таких разговоров не бывало, так как она никаких химер не придумывала.

В 1934 г. отправился в ссылку О. Э., а весной 1935 забрали меня. Выйдя через два с лишним года из лагеря, я списался с Мандельштамами, приехавшими тогда в

¹ Речь идет о стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны...», написанном в ноябре 1933 г.

² Н. Я. Мандельштам гостила у Б. С. Кузина в ноябре-декабре 1938 г.

Москву. Но мы успели обменяться лишь немногими письмами, так как вскоре О. Э. был арестован и отправлен в лагерь на Колыму. В начале 1938 г.² Н. Я., зная, что первые вести от О. Э. из этого лагеря придут нескоро, и что зимовать ему придется где-то близ Владивостока, приехала ко мне в Шортанды. Она договорилась с братом, что он немедленно оповестит ее, если что-либо узнает об О. Э. Находясь у меня, Н. Я. по памяти записала все не напечатанные стихотворения О. Э. и оставила эти записи у меня. Ее память удивительна. Но после выхода американского собрания сочинений Мандельштама я увидел, что все же она сохранила в памяти не все. Откуда же тогда стали известны стихи, отсутствующие в моем списке? — Всего вероятнее, что у Н. Я. существовала и другая запись. Тогда отпадает и вопрос о расхождениях, чаще небольших, но иногда и существенных, между текстом опубликованным и сохранившимся у меня¹. Первый, вероятно, более достоверен. Но, может быть, и не всегда.

Не помню точно, сколько времени Н. Я. пробыла у меня. Однажды от ее брата пришла телеграмма, извещавшая о смерти О. Э. Н. Я. немедленно выехала в Москву².

После ее отъезда между нами установилась очень постоянная и частая переписка. Весной 1945 г. я, по пути в Сталинабад (до того и теперь Душанбе), остановился у нее в Ташкенте, где она жила во время войны. С тех пор я больше с ней не встречался, но наш обмен письмами продолжался.

И вот произошло нечто, лишённое всякого основания и смысла. В один из послевоенных годов я эту переписку оборвал. Без всяких объяснений, так как объяснять свое поведение мне было нечем. И мало того, что без объяснений, — с полной уверенностью, что буду заподозрен в трусости. — Ведь в это время вторая волна сталинского террора как раз набирала свою полную силу и такое подозрение напрашивалось само собой. Я не имел в жизни случая проявить героизм. Поэтому я не могу утверждать, что трусость мне чужда. Но я хорошо знаю, — сознание, что я совершил постыдный поступок, было бы для меня непереносимо. Я и до сих пор не понимаю, что заставило меня прекратить переписку с Н. Я. Очень твердо помню, что все наши письма были самые дружеские. Никаких споров мы в них не вели и поэтому обидеть друг друга не могли. Мой поступок мучил меня, и искал для него всяких объяснений. Возможно, в то особенно мрачное время постоянные мысли о мучениях О. Э. перед смертью стали для меня совсем непереносимы, и я, бессознательно спасаясь от боли, сторонился от всего, что эти мысли вызывало. Но я не уверен, что это объяснение справедливо. Сведения о Н. Я. доходили до меня из разных источников. Каждый раз, слыша о ней, я вспоминал о своем безобразном поступке. Но я не пытался восстановить наши отношения, хотя я думаю, что это было бы возможно, если бы я написал Н. Я. приблизительно то, о чем говорю сейчас.

Одно только я вижу положительное последствие своего необъяснимого поведения. Как мне передавали, вокруг Н. Я., живущей теперь в Москве, образовалось подобие литературного или литературоведческого салона. Возник он, вероятно, на почве подготовки к печати сочинений Мандельштама. Я однажды описал (в воспоминаниях о Н. Д. Леонове), как судьба уберегла меня от вступления на «литературное» поприще. Если бы я продолжал свои отношения с Н. Я., то неминуемо вступил бы в какие-то связи с теми, кто создают — иного слова я не могу найти — культ Мандельштама. Я не люблю ни салонов, ни культов. Об О. Э. я хочу сохранить воспоминание как о самом мне дорогом друге. А объект культа — тем самым уже не друг. И я не совсем уверен, что издания стихов и прозы Мандельштама следовало добиваться. Ведь если бы они были у нас теперь напечатаны, то в каком изуродованном виде!

¹ В личном архиве Б. С. Кузина записи текстов стихотворений О. Э. Мандельштама, сделанные рукой Н. Я. Мандельштам, отсутствуют.

² По письмам Н. Я. Мандельштам к Б. С. Кузину с 30 декабря 1938 г. по 30 января 1939 г. последовательность событий представляется иначе.

Увидав американское издание Мандельштама ¹, я вздохнул с полным облегчением. Его творения не потеряны. Пусть они будут трудно доступны русскому читателю хотя бы и еще сто лет. В великой русской литературе место Мандельштама сохранено навсегда.

Две поправки

Только две, потому что я не успел прочитать всю рукопись Н. Я.

1. Н. Я. пишет, что А. А. Морозов сообщил ей, будто я совсем не был знаком с «Путешествием в Армению». Это неверно. У меня за время моих странствий по Казахстану пропал оставшийся в Москве номер журнала, в котором оно было напечатано. Но знал я «Путешествие» очень хорошо еще до его напечатания и о многом в нем спорил с О. Э.

2. Неверно, что я заявил на следствии, что я хочу смерти своей матери. Н. Я. забыла мой рассказ об этом. — Следовательно, как обычно, всячески меня застрашивал. Обещав загнать меня куда-то чуть не на всю жизнь, а то и расстрелять, он, тоже традиционно, воскликнул: «Подумайте, что будет с вашей матерью! Как она это переживет?» На это я ему ответил: «Она этого не переживет. Я знаю, что она умрет. Но что же я могу сделать?» — Сделать-то, конечно, было известно что.

Октябрь 1970

¹ Б. С. Кузин мог быть знаком с двумя американскими изданиями сочинений О. Э. Мандельштама, подготовленными Г. Струве и Б. Филипповым. 1). Собрание сочинений. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. 2) Собрание сочинений: [В 4 т.]. — Вашингтон; Нью-Йорк. — 1964—1969.